

ЗАЖМИ СЕРДЦЕ В КУЛАК!

(главы из повести)

Часть вторая

Глава первая

«...Ваши доводы, Юркин, учтет военный трибунал!»

Это были последние слова майора из контрразведки.

«...Учтет ваши доводы...»

А что учитывать, если для всех ты – изменник Родины. А трибунал завтра. Впереди лишь ночь.

Ночь...

Всхрапывает сосед на нарах в углу, совсем молоденький лейтенант. Его привезли сегодня в обед. Чистил пистолет и случайно ранил солдата из своего взвода. Мучается, хоть и молчит. Солдата жалеет, о себе не думает.

Где-то гроыхнули орудия. На слух – стодвадцатидвухмиллиметровки. Наши... Протарахтел штабной мотоцикл – по стене камеры скользнул свет фары.

Из темноты выплыло родное лицо Лайне. Белокурые волосы прихвачены черным простеньким гребнем. Какие они мягкие, волнистые... И вечная тревога в серых глазах – тревога и боль.

Лайне... А по-русски – волна.

Разве мог он подумать, что так сложится, что в огненном этом водовороте встретит ее, единственную и неповторимую?

Лайне он не сразу заметил – она появилась в школе в конце 1943 года, а он приехал в Таллин на два месяца раньше. Всегда в работе: мыла полы, стирала пыль, надраивала до солнечного сияния медные дверные ручки. Все молча, не поднимая головы, не отрывая глаз от пола. Когда спас ее из рук немецкого прихвостня, она, закрыв лицо руками, выбежала из конюшни. Тоже молча. Лишь в дверях обернулась – взгляд ее, горячий, благодарный, прожег до сердца. На другой день увидела в коридоре: «Данке, герр обер-лейтенант, данке фильмальс!» При встрече

улыбалась благодарно, потом и разговаривать стала. А однажды Юркин поймал себя на мысли, что ждет, с нетерпением ждет прихода этой курносой белокурой эстонки с серыми, всепонимающими глазами. А потом любовь захватила их...

Лайне, глядя в его глаза, часто говорила: «Ты не такой, как все! Ты добрый! Ты не уедешь к своим саксланэ*, когда война кончится? Правда не уедешь?» Нет, Лайне, я никогда не уеду, никогда...

«Трибунал учтет ваши доводы...» «Советские люди каждый день в боях головы кладут, а вы у немцев два года чем занимались?» Не поверят. Не поверят ни одному слову. Сидя в камере, ничего не докажешь.

Там, у немцев, он часто слышал и сам не менее часто повторял курсантам: «Перебросят за линию фронта – не вздумайте идти с повинной! В НКВД не верят никому. Вас расстреляют после первого же допроса, а семью сошлют в Сибирь!» Говорить иначе Юркин не мог: вокруг были сотни глаз. Но упрямо все два года пробивался к заветной цели – к своим. И вот оказался в подвале, за решеткой. А утром – трибунал.

А может, в его жизни произошла непоправимая ошибка? Может быть, нужно было просто самому вовремя оборвать ее? Тогда никто бы не считал его предателем, как сейчас. Он был бы один из тысяч, погибших достойно... Юркину представилась вся его короткая и полная превратностей жизнь.

...Весна сорокового года. Ожидание выпускных экзаменов в училище, предвкушение заветных черных петлиц с золотистой окантовкой и двумя рубиновыми лейтенантскими кубиками. На стене их спальни висел лист ватмана в виде шинельной, как ромб, петлицы, и взводный заводила, Колька Жук, каждое утро за полчаса до пробудки вставлял в окошечко новую цифру: «До экзаменов осталось 47... 38... 27... 10 дней».

Потом было все, что положено выпускнику, и Юркин получил сполна свою долю.

Был торжественный парад на училищном плацу – при развернутом знамени, под гулкую барабанную дробь, когда мощно и четко печата-

* Так эстонцы зовут немцев.

ются сотни ног в ровный асфальт, когда слитный строй – единое целое и горит душа от восторга.

Был великолепный бал, и духовой оркестр гремел медью, и беззаботно смеялись девушки из пединститута, а ребята были все какими-то необычными в новенькой комсоставской форме и в скрипучих португалиях...

Потом пришло назначение, и Юркина послали в недавно воссоединенную Прибалтику, в чистую, уютную, словно вымытую Либаву, и здесь он впервые испытал ошеломляющее чувство ответственности – не за себя, за других. За восемь душ и орудие.

Предвоенной армейской жизни на долю Юркина досталось всего десять месяцев. Потом грянула война.

До смертного часа не забыть тупое отчаяние ее первых дней, когда немец бил и с воздуха, и с земли, давил танками. Сыпал бомбами, а ты смотрел темными от ненависти глазами в знойное синее небо – где же вы, краснозвездные ястребки? Ведь был же под Либавой целый полк истребителей, да на озере базировалась гидроавиация, эскадрилья Балтфлота. Где же они?

В первый день, 22 июня, немцев остановили на реке Барте, километрах в пятнадцати от города. Потом отбросили прорвавшихся немцев от завода Тосмари. В тот день Юркин и трое уцелевших бойцов из его расчета стали пехотинцами: подбитое орудие пришлось бросить... А еще через день, 25 июня, он, тяжелораненый, попал в полевой госпиталь и так, с госпиталем, перевязанный и без документов, очутился в плену, и немцы, не зная, что он командир и комсомолец, его не расстреляли.

Потом был Тильзитский лагерь – люди там жили в земляных норах, потому что никаких строений в лагере не было. Тех, кто пережил осень сорок первого года, немцы развезли по другим лагерям, и Юркин очутился в Свиномюнде.

Поскольку Юркин знал с пятое на десятое по-немецки, он стал тышэльтесте – старшим по столу: делил хлеб на двенадцать человек, разливал баланду, потом его назначили штубендистом – старшим по полубараку. Это была трудная должность: между двумя огнями – нем-

цам не перечить да и своих под удар не ставить. Юркин выкручивался почти год. А мысль была одна: как вырваться? Правда, и здесь, в лагере, были люди, пытавшиеся наладить подпольное сопротивление. Юркин делал все, что от него требовалось: того подкормить, этому передать записку в соседний барак, а то и перепрятать листовку... Но деятельная душа Юркина жаждала иной борьбы – он хотел биться с оружием в руках и чтобы фашистам было тошно... А для этого надо было вырваться из лагеря. В побег Юркин не верил, считал это дело безнадежным. Во-первых, уж больно мастерски их немцы охраняли. Во-вторых, если даже и убежишь – как пройдешь через Германию, где тебя готов схватить каждый?

В начале 1943 года в лагерь приехал вербовщик из РОА – высокий белобрысый фельдфебель. В Красной армии он был порученцем у какого-то генерала, имел звание старшего лейтенанта. У немцев стал фельдфебелем. Вышагивая перед хмурым строем военнопленных, напористо призывал «дружно, как один, идти к генералу Власову, в Русскую освободительную армию, чтобы плечом к плечу с доблестными солдатами фюрера очистить нашу землю от язвы большевизма». Глядя на него, Юркин думал, что, наверно, еще совсем недавно этот сытый барбос вот так же вышагивал перед нашими бойцами и призывал их громить фашизм...

Подпольная группа решила: сорвать вербовку! Через своих людей по баракам пустили призыв: «В РОА не идем! Лучше умрем, чем изменим!»

Юркин завербовался.

Первый месяц он был ефрейтором, второй – обер-ефрейтором, затем стал унтер-офицером: учил солдат РОА обращению с трофейным бельгийским оружием, благо сам его освоил быстро. Думал, что вот обучат их часть, и кончится эта жизнь в тихой Лигнице, попадут они на фронт, и он со своим взводом уйдет ночью к нашим... А если подговорить и других? Чтобы уйти не взводом, а ротой. Или целым батальоном. Еще через месяц ему стало ясно, что это невозможно: немцы не разрешали власовцам формировать части крупнее роты, да и те рассредотачивали по немецким войскам. Власовцев на Восточный фронт не

посылали, использовали в качестве карателей – против югославских, французских, польских партизан. И очень редко – против советских. Нет, немцы дураками не были.

Но Юркин и тогда не отказался от своего плана. Он неукоснительно выполнял все, что от него требовалось. Юркин добился своего: немцы его заметили и, кажется, поверили – направили его в разведшколу.

Все это он и выложил сегодня на допросе седоголовому майору из контрразведки. Все, как было. Все, о чем думал ночами на нарах вонючего барака. Все, к чему рвался в проклятой немецкой неволе.

Но майора это не тронуло. Ему нужны были не слова, а дела, факты. Слова Юркина хороши, а вот факты: был Юркин лейтенантом Красной армии – стал немецким лакеем; был комсомольцем – стал немецким шпионом. Это факты. И готовность совершить диверсию – это тоже факт. «Ваши слова, Юркин, учтет военный трибунал – пусть он все взвесит и выдаст вам полной мерой».

...Вдалеке по каменным ступеням подвала процокали подковки. Звякнула связка ключей, послышались голоса двоих. Остановились у камеры.

Юркин встал. «Это за мной. Но куда ночью? А может...»

Распахнулась дверь, и в камеру, согнувшись, скользнул офицер в полушубке, посветил карманным фонариком.

– Вы Юркин?

– Так точно, я.

– Собирайтесь, едем, быстро!

– Куда?

– Не разговаривать! Живее!

Юркин выхватил из-под нар мешок, вытянулся:

– Готов!

...Ошалевший после двухчасовой тряски в душном закрытом кузове, Юркин, едва ступив в кабинет, понял: вот где будет решаться его судьба.

За столом сидели двое: давешний седой майор из контрразведки и сухощавый полковник в пенсне.

Майор кивнул на стул в углу:

– Садитесь, Юркин!

Полковник встал, вышел из-за стола и подсел к Юркину.

– Показания читал. Значит, сам явился?

– Сам.

– Почему?

– Я пытался с вами связь наладить оттуда – не получилось. Пришлось идти самому.

– Что-то я не понимаю... О какой связи идет речь? Отвечайте конкретно.

– Немцы меня сюда кинули, а я к вам явился.

– Одного или с группой?

– С группой, меня и еще двоих: Самсонова и Косичкина.

– Где же они?

– Самсонов должен быть у вас, а Косичкин – не знаю. Мы еще в школе так с Самсоновым договорились. Если приземлимся вместе, явемся в контрразведку вместе. Если растеряемся, идем врозь.

– А Косичкин?

– Это гад. Служил в немецкой полиции в Крыму, до войны уголовником был. Этот сдаваться не будет. Он наших моряков в Севастополе расстреливал.

В разговор вмешался седоголовый майор:

– Значит, отмежеваться решил? Служил немцам верой и правдой, а теперь в чистенькие метишь?

Но Юркин, взглянув на майора, отвечать не стал, снова обернулся к полковнику:

– В нашей школе было двое стоящих людей. Думаю, они оба у вас побывали. Так я с ними договаривался. Только они должны ссылаться на Петра Михайлова. Так меня зовут в школе.

Полковник чуть приподнял брови:

– Так вы и есть Петр Михайлов? – Обернулся к майору: – Он вам говорил, что он – Петр Михайлов?

– Никак нет, Степан Савельевич, не сказал.

Полковник недовольно уставился в лицо Юркину:

– Что же, в кошки-мышки будем играть?

– Нет, не будем. Майор же все равно меня не знает. Для него что Юркин, что Михайлов – безразлично. Их дивизия прибыла в армию на пополнение месяц назад, как кончилось наступление под Ленинградом и Новгородом, а последний из моих людей был заброшен в ваш тыл в декабре. Двадцать первого декабря. Шел Дурасов... А вы, майор, не обижайтесь и не удивляйтесь: в абвере не только идиоты работают. Раз мы к вам агентуру забрасываем – должны знать, какие им документы готовить и какие у ваших командиров подписи.

Полковник резко оборвал:

– Ладно, ладно! Мы и сами это знаем! Все же я не уловил, почему вы ему не назвались Михайловым?

– Так ведь Михайлов – псевдоним. Майор же обязан мои показания проверить. Кто я, откуда родом. А что по Михайлову проверять – там одна фальшь... А два имени говорить побоялся: у хорошего человека двух имен не бывает...

– Что же, давайте очно знакомиться. Расскажите нам о себе, по порядку.

– Есть, товарищ... – спохватился, осекся. – Слушаюсь! Родился в 1918 году в Сибири, в Тисульском районе – в Кузбассе. Родители и сейчас там живут. Должно быть... В 1937 году по комсомольской путевке пошел в артучилище, окончил его в 1940 году и был направлен в 67-ю СД* 8-й армии, командовал орудием в Либаве. Летом 1941 года, во время боев за Либаву, был ранен, попал в плен. Находился в лагере в районе Тильзита, потом – Свинемюнде. Год я там пробыл, потом приехал вербовщик из РОА. Я поехал. Определили сначала в строевую часть, потом, в конце 1943 года, – в эту вот разведшколу. По совести, я туда сам напросился. Я так решил: в разведшколу если попаду да со своими свяжусь – буду полезен. Правда, переживал очень, а от них ни слуху ни духу. По-разному думал: может, вы им веры не дали, может, несчастье с ними какое. Вот и решил: сам пойду.

– Понятно. Кто такой Зольдер?

– Майор Иоганн Зольдер – начальник школы. Лет около сорока.

* СД – стрелковая дивизия.

Немец, но долгое время жил в Эстонии, еще до воссоединения с СССР. Был офицером эстонской армии и выдавал себя за эстонца.

– Кто делает липу?

– Есть специалист. Мы его зовем Доктором – ходит в белом халате. Ему года тридцать два – тридцать три. Из русских, но откуда – не знаю. Он с работниками школы не очень-то общается. Держит себя обособленно. Но документы делает классно. Кстати, мне Гумовски – это заместитель Зольдера – рассказывал, что Доктор прошлым летом ходил к вам в тыл, с каким заданием – не знаю. Имел якобы форму капитана-танкиста. И где-то в парке забыл свой планшет, а в планшете тысяч тридцать денег да много разных документов на несколько имен. Про планшет вспомнил буквально через минуту, тут же, в парке. Бросился к той скамейке, а навстречу милиционер с его планшетом! Доктор решил, что милиционер туда заглянул, стал от него убегать, а тот как закричит: «Эй, товарищ капитан, планшет возьмите!» И за Доктором! Догнал. Доктор уже решил: все, попался! А тот руку под козырек: «Возьмите, пожалуйста!» И отдал. Гумовски здорово смеялся...

– Ладно, ладно, мы тоже скоро посмеемся! Кому подчиняется ваша школа?

– Филиалу абвера «Ревель», по-немецки «Абвернебенштелле Ревал», сокращенно «АНСт Ревал».

– Кто руководит филиалом?

– Фрегат-капитан Александр Гизевиус.

– Ты его видел?

– Один только раз, и то мельком: он к майору Зольдеру под Новый год приезжал. Важный, роста невысокого, полный, седой. Гумовски говорил, что Гизевиус до войны был немецким военным атташе в Швеции и Финляндии. Знает шведский и финский. До этого года постоянно находился в Хельсинки, в Таллин навещался время от времени. Теперь совсем в Таллин перебрался. У него контора в районе Кадриорг, на улице Койдула, называется «Бюро Гизевиуса». Для видимости занимается вербовкой рабочей силы для немецких предприятий.

– Что это Гумовски так много рассказывает? У вас с ним что – дружба большая?

– Сам не знаю, в общем, доверяет, что ли. Своим считает: я же для него перебежчик. Но презрения ко мне, как к русскому, у него нет. Слушать его интересно. О Гитлере почти никогда не говорит, все только о Германии. Историю здорово знает – и Германии, и нашу русскую. О советской власти не знает почти ничего и все выпрашивает. И все к Германии примеряет. Сравнивает, что когда у нас было, и что в Германии, и как действовало наше правительство, и как германское. В общем, трудно мне с ним – так и гляди, проговоришься. И молчать нельзя, сами понимаете.

Полковник и седоголовый майор переглянулись. Юркин это заметил, но понять значения взглядов не мог.

Полковник обернулся к нему:

– Ну, понятно. На сегодня хватит, пожалуй. – Он глянул на часы, снял трубку, подождал, пока ответят, и вызвал какого-то Петухова.

Спустя минуту в комнату вошел капитан – тот, что привез Юркина.

Полковник – Петухову:

– Отведи к себе, пусть поспит. Накорми. Вызовем, когда будет нужно.

II

Полковник велел принести себе и майору по стакану чая, да покрепче: здорово разгоняет сон. Прихлебывая крутой кипяток, думал. Майор тоже молчал.

Отношения еще между ними не сложились: дивизия и вправду прибыла в армию всего месяц назад. В разведке же одной армейской субординации мало: помимо званий и должностей, здесь обязательно взаимное доверие – полнейшее доверие! – и взаимное уважение. А как уважать человека, если его почти не знаешь?

Майор – звали его Алгазин Иван Тимофеевич – показался полковнику человеком умным и выдержанным. Доклады об обстановке в дивизии и о противнике, при всем их немногословии, отличались широтой собранных сведений, глубиной анализа и четкостью изложения. Если майору было что-нибудь неясно, он говорил прямо, тень на плетень не наводил. Если был в чем-нибудь убежден, мнение свое отстаи-

вал. Ни сверху вниз, ни снизу вверх на людей не смотрел. Все это пришлось по душе полковнику: он любил самостоятельных работников. Но за месяц окончательного суждения еще не сложилось: он знал, что человек до конца раскрывается не сразу, нужны для этого обстоятельства чрезвычайные. На фронте их, правда, с лихвой – в засаду ли попал, приказ ли неверный отдал, а то и наоборот – побоялся отдать приказ... Но пока майору Алгазину такие обстоятельства не подвергались, и полковник не спешил с выводами...

Впрочем, не было окончательного суждения и у майора Алгазина о полковнике.

Указания полковника – на взгляд Алгазина, толковые и дальновидные – вместе с тем оставляли массу простора для его собственной инициативы, и это ему, безусловно, нравилось. За глаза работники штаба называли полковника хохлом: он и вправду был украинцем и фамилию носил украинскую, Ляшенко, но с двадцатых комсомольских годов попал на Урал, там и женился, там и обрусел.

Алгазину он понравился: в обращении прост, авторитетом не давил и с мнением других считался...

Но вот в отношении Юркина мнения у них разошлись. Майор Алгазин это почувствовал, но не мог взять в толк почему.

Дело же заключалось в том, что в ноябре прошлого, 1943 года в ОКР* 57-й дивизии, входившей в состав их ударной армии, действительно явился с повинной немецкий агент по фамилии Стрепетов и ссылался на преподавателя Таллинской разведшколы Петра Михайлова.

Начальник ОКР 57-й дивизии – человек молодой, только что выдвинутый на эту должность из полка, человек энергичный и решительный – тут же снесся с ОКР армии, выяснил, что нашего работника под таким псевдонимом в немецком тылу нет.

Вся эта история показалась ему немецкой провокацией, и он успел буквально в два дня оформить на явившегося уголовное дело, как на немецкого агента, и пропустить его через военный трибунал. И лишь потом прислал в ОКР армии подробное спецсообщение.

* ОКР – отдел контрразведки.

Трибунал рассмотрел дело, учли явку с повинной, и оказался Стрепетов в лагере. Хорошо, что хоть не расстреляли! Полковник, когда обо всем узнал, расвирипел, но не опротестовывать же приговор трибунала, да и оснований веских нет. На том дело и кончилось.

В декабре 1943 года, под самый Новый год, явился Дурасов, он тоже вышел в распоряжение 57-й дивизии. На этот раз полковнику донесли вовремя, Дурасова он допросил сам и понял, что такую возможность упускать нельзя. Видимо, там, в Таллинской разведшколе, был свой человек. Видно, попал к немцам случайно, а теперь мечется, ищет ходы-выходы... Во всяком случае, рискнуть стоило, и полковник решил пустить к таинственному Петру Михайлову того же Дурасова с поручением. Разработали план, подготовили легенду – ведь по возвращении к немцам Дурасов должен был отчитаться в выполнении задания – и отправили. Но при переходе линии фронта Дурасов попал под минометный обстрел и погиб вместе с одним из переводивших его солдат полковой разведки. Посылать же своего человека к Михайлову в Таллин полковник не решился: не зная ни его, ни обстановки в школе, ни подходов к ней, рисковать было бессмысленно. Полковник резонно решил, что если Михайлов сумел послать двух своих людей, то придет и третьего. Надо только подождать. Но вышло иначе: на этот раз Михайлов явился сам...

Полковник поставил на стол пустой стакан, глянул на майора Алгазина:

– Что, Иван Тимофеевич, как он тебе показался?

Майор пожал плечами:

– Немцы теперь тоже ученые... Такую легенду дадут...

– Значит, не веришь?

– Степан Савельевич, что значит – веришь, не веришь? Я только факты уважаю, они вещь, как говорится, упрямая.

– Ну, понятно. Против фактов кто же станет спорить? Тай дурень кашу зварить, як пшено та сало... А вот ты попробуй эти факты понять, истолковать, использовать... Могло быть именно так, как он рассказывает?

Майор Алгазин снова пожал плечами:

– Быть-то могло, но ведь с таким же успехом он мог рассказать, что бежал из плена и дрался в партизанском отряде какого-нибудь «Бати» или «Деда» и что попутно где-то что-то взорвал и кого-то пристрелил – хоть генерала, хоть самого гауляйтера. И еще черт знает что он мог сочинить! Ведь ничего не проверишь, и ему это прекрасно известно!

– Вот именно. А он дает только то, что его никак не красит: служил в РОА, готовил агентуру для заброски к нам. И никаких подвигов. А что сделал хорошего – то подтверждается на все сто.

Майор опешил:

– То есть как это – подтверждается?

– Да так: Стрепетов, агент его, к нам явился, ссылаясь на него. Это еще до тебя. И Дурасов тоже приходил, в декабре. А Самсонов, которого он поминает в показаниях, – полковник махнул рукой на стол, где лежал протокол допроса, – сейчас в 57-й дивизии сидит. Их всех немцы как раз в стык между вами и 57-й дивизией кинули. Я им тогда за Стрепетова такого духа дал – век помнить будут! Из-за них такой случай упустили!

– Сейчас-то где он, Стрепетов?

– Не знаю, судили его. Попробуй вытащи-ка его теперь из лагеря! Алгазин неопределенно хмыкнул, потом все же решился:

– Степан Савельевич, я понимаю, куда вы клоните, но промолчать – не в моем характере. Что думаю, то и скажу. Степан Савельевич, что меняет явка этих троих? Что она доказывает? Ведь все они пришли оттуда, от немцев. Все трое могут идти с одной легендой... В расчете, что мы клюнем хоть на одного...

– Поймай, поймай! Ты не обмолвился? Выходит, всех, кто к нам идет с повинной, – стрелять?

– Ну, зачем стрелять? И ко мне на Южном фронте люди с той стороны приходили... Мы им, как водится, полную проверочку, и которых подпольщики и партизаны удостоверяют – тем почет и уважение. А уж на нет, извините, и суда нет. Стрелять, конечно, всех подряд без достаточных оснований вовсе ни к чему. Пусть посидают, пока война. А потом разберемся, кто чем у немцев занимался.

– Ну, добре, понял я тебя. Вот, скажем, пришел к нам такой, как этот Юркин. Если мы его сейчас засунем обратно в школу да дадим ему за-

дание... Ведь он у самого Гизевиуса будет под боком! Или, может, действительно в лагерь? До конца войны?

– Степан Савельевич, как хотите (это прозвучало: я вам подчинен), но сам бы я на это не пошел. А если все это – фрицевская провокация? Подсунут они нам этого Юркина и будут через него играть с нами...

– Или мы через Юркина будем играть с ними! Ты видишь то, что лежит на поверхности: лейтенант РККА, комсомолец, служит немцам. И все. А что за всем этим стоит? Почему так случилось и хочет ли человек оправдаться? А главное, можем ли мы это его стремление использовать для нашего дела – над этим ты думаешь? Конечно, в Таллинской школе абвера подпольного партбюро нет, и партизанского штаба там не сыщешь. Проверить его не через кого. Но человек-то он все же наш, русский. Здесь его дом, здесь его родина. И родители, видимо, в Кузбассе живут: он же адрес дал. Да неужели же фашисты должны ему больше доверять, чем мы?

– Это, Степан Савельевич, из области эмоциональных порывов. А в разведке, сами знаете...

– Так ведь и мои эмоции не на пустом месте возникли... Между прочим, когда я в тридцать пятом пришел в НКВД, назначили меня замом к одному шибко серьезному начальнику. Так вот он говорил: «В Африке, чтобы поймать трех львов, делают так: ловят десять и семь выпускают. С гарантией. Со шпионами, чтобы не было промашки, делают так же: бери побольше, а уж если точно будешь знать, что кто-то из них не шпион, – того можно, пожалуй, и выпустить...» Сколько я с ним тогда спорил – и не так нежно, как ты сейчас со мной!.. Пока где следует не распознали, что у моего начальника душа гнилая, – я думал, он меня с потрохами съест! Так ты, часом, не ту же веру исповедуешь? Насчет львов?

– Нет, товарищ полковник. Я в органах, как и вы, по партийной путевке. А говорить то, что думаю, – считаю, обязан. Как коммунист.

– Ну, тут мне крыть нечем. Факт, обязан. Словом, давай так: я монопольным правом на истину не располагаю. Следовательно, могу и ошибиться. А чтобы тебе, Иван Тимофеевич, за мои ошибки не отвечать, будем считать, что Юркина у тебя забрал. А дело ты завтра из

трибунала истребуй – так сказать, по вновь открывшимся обстоятельствам – и перешли мне. Договорились? Ну, а теперь давай потревожим нашего героя: он, поди, уже отдохнул...

III

Юркин и в самом деле успел за эти два часа и поужинать, и даже вздремнуть на сдвинутых стульях. Правда, теперь от прерванного сна голова была чугунной и время от времени Юркина чуть подташнивало, но у него уже возникло и больше не пропадало ощущение, что все идет как надо. Что хмурый майор над ним не властен, а полковник, видимо, ему верит и что на него не смотрят больше как на предателя – всего этого было вполне достаточно, чтобы Юркин успокоился и воспрянул духом.

Полковник вновь подсел к нему:

– Расскажи-ка ты нам толком, какое вам немцы дали задание, когда сюда выкидывали?

– По совести, я на эту операцию сам напросился... А задание такое: подорвать выходные и входные пути на станции Мхи.

– Да? Что-то я не читал этого в твоих показаниях...

Майор Алгазин заметил недовольно:

– Он, товарищ полковник, мне об этом не сказал!

Полковник – Юркину:

– Почему?

Юркин посмотрел на майора, потом на полковника, махнул рукой и решил:

– Так товарищ... – Переждал секунду, его не одернули, и он уже совсем уверенно заговорил: – Товарищ майор мне не верил. Скажи я ему про станцию, он бы обязательно устроил там засаду.

– И что?

– Ни к чему это, товарищ полковник. Только все дело испортил бы. У нас так условлено: до завтрашнего... теперь уж до сегодняшнего дня ждать друг друга. Если сегодня все трое не сойдемся, рвем пути поодиночке, кто уцелел. До ночи Косичкин будет ждать.

– Так ты что – не хочешь, чтобы майор вам помешал рвать пути?

Юркин встал:

– Товарищ полковник! Готов отвечать за все свои поступки перед вами, перед трибуналом, перед Родиной. Но делал это затем лишь, чтобы к своим выйти. И раз сейчас мне это удалось – я одного прошу: веры. У немцев я не на последнем счету. Тем легче будет мне выполнить ваши задания. А пока вы не решили, как поступить дальше, – что же засады устраивать? Мало ли какие у вас будут планы?

Полковник глянул на сумрачного Алгазина и, поймав его взгляд, чуть усмехнулся.

– Значит, я тебя так понял: Косичкина, как гада, нам изъять и ликвидировать, а тебя с Самсоновым пустить обратно в школу?

Юркин утвердительно кивнул:

– Только Косичкина нужно оставить. Он у немцев в почете. Пусть подтвердит, что взрыв был честь по чести.

Полковник улыбнулся:

– А не мало у тебя взрывчатки, чтобы честь по чести?

– Не мало.

– Мне докладывали, что у тебя в вещмешке взрывчатка под пшениный концентрат замаскирована. Это все, что ли?

– Нет, товарищ полковник, это только половина. Еще там в мешке ливерная колбаса – тоже взрывчатка. Ее нам в школу недавно прислали, до этого мы такой не пользовались. Я подумал, вам тут интересно будет...

– А как действует эта колбаса?

– Очень просто: отрежешь кусок, целлофан долой, прижмешь к рельсу в том месте, где проушина, размажешь чуток по рельсу – и все. Не надо ни шнура, ни детонатора. Поезд пойдет – удар, взрыв!

– Лихо! Мы у тебя немного такой взрывчатки возьмем, посмотрим, что к чему.

Полковник задумчиво прошелся по кабинету, остановился напротив майора.

– Как, согласимся, Иван Тимофеевич? – И, не дожидаясь ответа, подытожил: – будем считать, что согласились. Только вы и рвите, что-

бы честь по чести. У нас тут есть кое-какие соображения, мы этой станцией можем не пользоваться... некоторое время.

Полковник знал, что через месяц начнется подготовка к новому наступлению. За этот месяц надо было привести дорогу в идеальное, насколько позволяли фронтовые условия, состояние. Движение по дороге предстояло на какое-то время приостановить для ремонтных работ. Ну, а Юркину знать все это было вовсе не обязательно.

– Так что действуйте. А Самсонов к вам присоединится. Там, у станции. Теперь слушай внимательно: кинотеатр «Би-Ба-Бо» в Таллине знаешь? Вот-вот, на улице Виру. Бываешь там? Нужно бывать – есть у тебя такая легальная возможность? Подозрений это не вызовет? Вот и добре. Только чур – ходить туда будешь один... скажем, по четвергам. Раз в месяц. А четверги меняй. Запомнил? И запасайся двумя билетами, скажем, на тринадцатый ряд. Не боишься, что чертова дюжина? Ну и молодец. Вот так. Может, понадобится тебя разыскать, понял?

Глава вторая

III

Новая группа, как и предыдущая, оказалась разношерстной: были в ней и доведенные голодом до отчаяния и одури военнопленные, и бывшие полицей, и власовцы. Юркин, присматриваясь к ним, пока никого не выделял, да и не мог за прошедшие две недели определить, кто из них чего стоит.

Сегодня по плану он должен был показать на местности обращение со взрывными патронами. Вывел группу в парк и прихватил с собой помощником Самсонова. Группу рассредоточил по парку, дал каждому патрон, шнур и приказал крепить к корягам и готовить к взрыву (сами взрывы по программе шли через два занятия). Потом, сопровождаемый Самсоновым, пошел от одного курсанта к другому, проверяя, правильно ли они выполнили инструкцию.

Самсонов шел следом, шаг в шаг, иногда покашливая, но Юркин первым не заговаривал, ждал. Наконец дошли до левофлангового кур-

санта – бывшего моряка Петра Быкова. Быков, видно, раньше имел дело со взрывчаткой.

Бросив взгляд на патрон, на шнур, змейкой сбегавший с коряги на сырую от талого снега землю, Юркин похвалил:

– Толково сделано!

Быков отозвался:

– А вы, господин обер-лейтенант, хоть и немец, а здорово по-нашему выучились, на слух так даже не отличишь.

Юркин усмехнулся:

– Я такой же немец, как и ты!

У Быкова порозовели скулы, чуть дрогнули уголки губ:

– Выходит, из эмигрантов?

Перехватив откровенно презрительный взгляд Быкова, Юркин сорвался:

– Молчать! Обратно в лагерь захотел?

Быков вытянулся, вскинул руку к пилотке:

– Виноват, господин обер-лейтенант! Больше не повторится, господин обер-лейтенант!

Юркин зашагал прочь. Самсонов, тут же догнав его, шепнул:

– Петр Михайлович, может, не стоило так?

Не оборачиваясь, Юркин бросил:

– А ты подумай, стоило или нет?

Самсонов тут же вполголоса:

– Петр Михайлович, что я вам скажу...

– Ну?

– Мы как от наших вернулись, на другой день меня майор Зольдер вызывал... Про операцию спрашивал – как станцию подорвали, а я все так и сказал, как оно было... Только про то умолчал (он со значением нажал на «то»).

– Еще что спрашивал?

– Говорит, расскажи, как приземлился, как шел, куда заходил и были ли в магазинах. Я говорю – так, мол, и так, когда на станцию заявился, пить уж очень хотел, в буфет зашел, а он, Зольдер, спрашивает – чего, мол, там покупал? Я сразу смекнул, что к чему... Ничего, говорю, в том

буфете и не купишь, торговлю, мол, еще не наладили. Он тогда прямо в лоб – что же, мол, про «Казбек» не скажешь? А я – «Казбек», мол, не в буфете брал и не в магазине, а с рук. Старшина там, на вокзале, он, мол, из отпуска возвращался, так загнал мне две коробки за сотню. А то, говорю, когда по лесу шел, в речушку по пояс провалился – а я и правда провалился, под снегом вода была, у наших еле отогрелся – так, говорю, свой «Беломор» промочил. Он говорит – где, мол, этот «Казбек»? А я говорю – искурил, пока до взрыва с Косичкиным у линии лежал. Он говорит – а Михайлов видел твой «Казбек»? А я говорю – нет, он, мол, от нас отдельно сидел. Зольдер тогда и спроси – как, мол, ты без пунктов, ну без карточек, курево купил? А я говорю – так старшина же с меня сотнягу слупил! Какие уж тут пункты? С тем и отпустил, только вам не велел пересказывать...

– Добро, Самсонов, добро.

– А ведь хорошо, что вы тогда меня предупредили, когда Косичкина того... А то бы я запутаться мог. Нет, вы не думайте, я теперь немцев не боюсь... Сейчас не боюсь, мы их сильнее. Но попутать они меня могли, верно, могли.

– Добро, Самсонов. А с этим морячком ты как-нибудь потолкуй. Понял? Спроси, как в плен попал, почему к немцам пошел. Есть ли родные, где живут. Больше ни о чем. Для затравки можешь о себе рассказать... Только не запорись – говори то, что немцы знают.

– Ясно, Петр Михайлович.

– Так меня больше не зови. Услышит кто – обоим головы оторвут. Командуй перерыв, пусть эта сволота патроны снимет...

Глава пятая

I

Юркина вызвали к капитану Гумовски уже под вечер, после занятий. Ничего не объясняя, Гумовски – он был в форменном блестящем реглане и в фуражке с высокой тульей – оторвался от какой-то бумажки и коротко бросил:

– Оденьтесь. Едем в город!

Верный своей привычке ничему не удивляться и ни о чем не спрашивать, Юркин кинулся к себе и через минуту вернулся:

– Готов!

У Гизевиуса их ждали.

Оказалось, что еще вчера вечером какой-то эстонец, бывший морской офицер, а ныне работник филиала «Ревал», опознал на улице в районе порта девушку: она служила в сороковом году здесь, в Таллине, в штабе Балтийского флота. Офицер даже помнил, что ее звали Валентиной.

Девушку схватили.

Сотрудница филиала, которая ее обыскивала, обнаружила несколько кварцевых пластинок. Разумеется, этого было вполне достаточно, чтобы девчонку расстрелять. И если бы она попала в СД, там именно так бы и поступили. Но Гизевиусу этого было мало: где кварц, там и передатчик. Радист же обслуживает кого-то, кто собирает сведения. Вывод: искать!

С ней пытались говорить по-русски, по-эстонски, по-немецки, но она молчала. Уговаривали ее сначала по-хорошему, а потом позвали Густава (Юркин его никогда не видел, рассказывали, что это весьма приятной внешности садист). Густав изощрялся над девчонкой, пока она не потеряла сознание.

Тогда-то и вспомнили о Юркине – сам Гизевиус вспомнил.

Если девчонка так упорствует, видя вокруг себя только одних врагов, то, может быть, к соотечественнику она будет благосклоннее?

Юркина оставили одного: Гизевиус и Гумовски перешли в соседнюю комнату, где стоял репродуктор. Напоследок Гизевиус оглянулся:

– Вам ясно, чего хотим мы, господин Михайлов?

– Вполне, господин фрегат-капитан!

– С богом!

II

Чего же здесь неясного? Все ясно! Только вот как унять сердце? Микрофон вмонтирован здесь, в столе, а оно грохочет и грохочет, на

весь дом слышно. Уймись, сердце, уймись. Юркин должен быть спокойным: где-то рядом ходит опасность. Кто она, эта девушка? Кем была в штабе? Как очутилась в Таллине? Не успела уйти с флотом и три года скрывалась? Или заброшена с заданием? Чем ей помочь – если это вообще возможно? Имеет ли он такое право? Решай, Юркин, уйми свое сердце и решай, только сразу: сейчас откроется дверь и ее введут. О чем говорить с ней? Как говорить? Никогда еще Юркин не чувствовал себя таким беспомощным. А за стеной сидят те, двое. И тоже ждут. Но когда послышались шаги по коридору, Юркина вдруг осенило: провокация! Проверить решили! Подсунуть свою и послушать, что он будет говорить, как будет действовать!

И вот ее вводят.

Юркин кивает конвоиру – мол, все в порядке, иди, не нужен. Потом, глядя на черные спутанные волосы девушки, на ее тщедушную фигурку, явственно проступивший синяк на шее, говорит веско и с достоинством:

– Я русский. Я офицер РОА. Вы можете мне не отвечать, но я и так знаю, что вы моя соотечественница. И вообще – я знаю о вас больше, чем вы полагаете. Позвольте же сказать вам, сказать прямо, что вам не на что надеяться, если вы не пойдете по пути разума. Я же со своей стороны обещаю... я мог бы попытаться облегчить вашу участь. Желаете вы этого?

Девушка, сгорбившись, безучастно сидит на стуле. Слова Юркина не производят на нее никакого впечатления.

– Ведь вам, наверное, не больше двадцати лет? Неужели смрадное дыхание смерти – мучительной смерти в петле – не остановит вас? Не заставит в последний миг отшатнуться от пропасти? Я знаю, вам сейчас нелегко. Я знаю, в ваших глазах я лишь жалкий предатель, изменник. Но подумайте: я тоже был в таком положении, как и вы сейчас. Это было давно – три года назад. И вот я живу...

Девушка, видимо, и вопросов не слышит – голова ее по-прежнему опущена, черные пряди разметались, спутались. А Юркину кажется, что провокатор должен быть не таким! Провокатор. А кто знает, какие трюки выделывает настоящий провокатор? Юркин этого не знает! И он говорит, говорит, лихорадочно контролируя слова:

– Поймите, мне просто вас жаль! Я не хотел бы, чтобы вы... Ах, да неужели вам еще не понятно? Сегодняшний день вам показал, что у германского командования найдется немало средств выбить из вас все, что требуется, и даже чуть больше. Неужели вы этого хотите? Я не сторонник эксцессов, я не хотел бы...

Девушка медленно поднимает голову, и Юркин наконец видит ее измученное лицо – опухшие веки, запекшиеся губы, бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Вдруг в них вспыхивает огонь, лицо озаряется улыбкой. Еще через миг лицо девушки по-прежнему бесстрастно, только глаза смотрят в упор – требовательно, властно. Юркин понял: девушка его знает. По инерции он все еще продолжает говорить, но в голове бьется мысль: «Узнала? И не крикнула, не кинулась? Провокатор бы не так! А как? Те двое сидят за стеной. Они слышат здесь каждое слово, каждый вздох... Что я говорю... Спокойно! Спокойно».

– Я даю вам добрый совет, не пренебрегайте им! Давайте начнем с вашего имени. Как вас зовут?

И тут она разлепляет губы и медленно произносит:

– Степанида... Савельева.

Теперь Юркину не хватает воздуха. Он вдруг ощущает, как по спине, между лопатками, быстро скатывается капелька пота. Да, конечно. Степан Савельевич Ляшенко. Таких совпадений не бывает. Ее прислал полковник Ляшенко. Она его узнала...

Неотрывно они смотрят в глаза друг другу, и он понимает немой вопрос: «Что делать? Я тебя не выдам, но что делать?» А там, за стеной, сидят двое... Но теперь Юркин вдруг успокаивается, и мысли – ясные, трезвые – приходят в голову.

– Ну и отлично, Степанида Савельева! Отлично, моя умница! Только ты не Степанида, а Валентина, и не надо меня обманывать...

Девушку колотит нервная дрожь.

Она смотрит – какие у нее глаза! Она силится понять.

«Милая, хорошая, пойми: я должен тебя назвать! Ну пойми, иначе конец обоим».

Наконец она говорит медленно, ощупью, словно взвешивая каждое слово:

– Если вы знаете, что я Валентина, то вы и остальное обо мне знаете?

Юркин прижимает палец к губам и чуть качает головой: не торопись, не спеши. А вслух:

– Мы всё знаем, так что нет смысла нас обманывать. Ведь вы бывали в доме на Тоомпеа, не так ли?

Кажется, она поняла.

– Да, еще до войны... Я была официанткой в столовой...

А глаза спрашивают: «Я правильно поняла? Я так сказала?» Юркин улыбается уголками губ, опускает и снова поднимает веки.

– И вы эвакуировались со штабом?

А глаза ведут свой разговор: «Я должна это сказать?» – «Да, да, должна!»

– Да, я эвакуировалась...

– Как вы вновь попали в Таллин?

Глаза девушки вздрагивают: «Этого я не могу говорить!» – «Скажи, так надо!» – «Нельзя!» – «Надо, надо!»

– Вас забросили, Валентина, мы же отлично это знаем. Ваш арест не случаен, запыраться бесполезно...

Она не понимает, не может понять. Ну, смотри, смотри мне в глаза, смотри, смотри! Если не забросили, значит, скрывалась тут – где, у кого? Немцы так не оставят, будут выматывать признание... Ну, пойми!

– Катером или самолетом? Да говорите, говорите.

– Катером...

– К кому? Вы знаете явку? Куда вас выбросили – прямо в город или в другом месте?

И он, неотрывно глядя в расширенные ужасом глаза, прижимает палец к губам и отрицательно качает головой.

– Что вы молчите? Знаете явку? – И снова качает головой.

Поняла.

– Нет, не знаю. Меня высадили с катера ночью, у какого-то поселка, я не могла ничего рассмотреть, и какой-то человек в немецкой форме, он нас ждал, довез меня на мотоцикле до города. На заставе его еще спросили, кого он везет. Он сказал, что любовницу... Нас пропустили. А явку в городе я не знаю, только улицу...

– Просто улицу? Или перекресток? А время? А приметы?

И глаза в упор: «Пойми, не оступись! Пойми, думай!»

– Ладно, чего уж там... Я и это скажу. Угол улицы Мюнди, у выхода на площадь ратуши. Вторая и третья пятницы, четыре часа дня. У него будет светлая шляпа. Это все.

И глаза у нее снова блестят: «Я так поняла? Я правильно сказала?» Юркин чуть улыбается: «Правильно, все правильно».

– Благодарю вас, я вами доволен. Вы проявили благоразумие. Вы убедитесь, что немецкое командование может быть великодушным. Вы радистка?

– Да. Рация была выгружена и спрятана в месте моей высадки. В город ее должен был привезти тот человек, который вез меня на мотоцикле. Но я попытаюсь объяснить, как ее найти... Только бы я вспомнила, что это за поселок!

– Еще раз хвалю! Надеюсь, мы и впредь найдем с вами общий язык. А теперь – спать, спать! Вы очень устали, и немудрено: день был бурным. Впрочем, вы сами виноваты: вели бы себя с самого начала умницей, и ничего бы не было...

Юркин вызывает конвоира и приказывает:

– Устройте фройляйн поудобнее, завтра у нее трудный день. Пусть как следует отдохнет. Отныне она находится под покровительством немецкого командования, и потому проявите к ней всю корректность, на которую вы способны. Идите!

Когда входят Гизевиус и Гумовски, Юркин как раз успевает засунуть в карман совершенно мокрый носовой платок.

Гизевиус впервые смотрит на Юркина, пытаясь по-настоящему понять, на что еще способен он, этот русский. Наконец фрегат-капитан позволяет себе улыбнуться:

– Вы неплохо провели допрос, господин Михайлов. Видимо, вам пора поручать более серьезные задания. А пока что займитесь поимкой обладателя светлой шляпы на углу улицы Мюнди. Искать мотоциклиста мы будем сами, а этот будет на вашей совести.

Глава шестая

II

За эти месяцы материала у Юркина накопилось столько, что хватило бы на целый том. Но для донесений он выбирал лишь самое важное, самое нужное. Сообщения готовил по ночам, при свете карманного фонарика, укрывшись с головой одеялом, задыхаясь и изнемогая от духоты. Готовые донесения вклеивал в пестрые коробки с сигаретами «Мемфис» и носил в кармане, потому что заранее нельзя было знать, когда Зольдер или Гумовски пошлют в город. Но, попав в Таллин, не упускал случая навеститься к тайнику, устроенному в запретной зоне, в Кадриорге, метрах в пятистах от резиденции гебитскомиссара Литцманна.

Не следует думать, что было создано некое специально оборудованное, скрытое от посторонних глаз убежище, куда имели доступ только посвященные. Такое сооружение вряд ли просуществовало бы больше недели. Когда готовят тайник, то думают прежде всего о том, что он должен быть легко доступен и не должен вызвать никаких подозрений.

В данном случае тайником служила обычная урна для мусора.

Проходя парком, Юркин бросал специально припасенные пустые папиросные коробки сегодня в одну урну, завтра – в другую. На случай, если кто вздумает следить. Те коробки, в которые ночью вклеил очередное донесение – одну-две исписанные мелким почерком странички, – опускал только в третью урну от домика Петра I. И обязательно рисовал на коробке опознавательный знак – детские каракули: то пароход под густым дымом, то птичку, то еще что. Кто брал коробки из урны, он не знал, но полагал, кто-то из трех мусорщиков, подметающих аккуратные аллеи. Все трое были одинаково хмуры и неразговорчивы. Юркин, разумеется, с ними никогда не заговаривал и в их присутствии заветные коробки в нужный тайник не бросал: рисковать было вовсе ни к чему.

Юркин понимал, что после разгрома немцев в Белоруссии наши должны нанести следующий удар, и вовсе не исключено, что этот удар будет на эстонском направлении. Понятно, что каждое его донесение,

каждая строчка могут оказаться тем именно камешком, который перетянет чашу весов в ту или иную сторону при рассмотрении этого вопроса командованием. Вот почему Юркин торопился сообщить главное из того, что узнавал. Он с уважением и благодарностью думал о тех неизвестных ему товарищах, которые забирали из тайника его донесения и проносили их через фронт. Временами он жалел, что никогда их не узнает. Никогда они не встретятся и не поднимут бокала за Победу, если даже доживут до нее.

Глава одиннадцатая

I

Моторы захлебывались, надсадно звенели в ушах.

Света в кабине не было, но Юркин чувствовал, что Гумовски – его недавно произвели в майоры – не спит. Нет, он не боялся: он был не из трусов. Но что-то с ним случилось в последние дни, как началось общее русское наступление. Несколько раз ловил на себе Юркин внимательный взгляд майора – такой же, как тогда, при награждении у Гизевиуса... И не знал Юркин – откуда же было знать? – что такой самоуверенный, такой спокойный Гумовски потерял душу.

Да, он еще подчинялся приказам – не вдруг уходит из человека привитое десятилетиями. Но былого рвення не стало. И доведись сейчас до допроса Быкова – пожалуй, уклонился бы: нельзя без уверенности в своей правоте смотреть в глаза умирающего, но не сломленного врага! Недавние сомнения теперь окрепли в убежденность, что вся эта война была ошибкой, что прав был Бисмарк, а не фюрер: с русскими надо ладить! Иной раз Гумовски мысленно прикидывал, как будет выглядеть русская оккупация Германии – он знал, что теперь это неизбежно, – и новыми глазами смотрел на Юркина: дай-то бог, чтобы хоть половина его соплеменников обладала таким же великодушием и благородством! А Юркину было худо.

После расстрела Быкова он возненавидел Гумовски, хотя понимал, что в его положении ненависть к одному человеку – если даже он

фашист – непозволительная роскошь и тяжелая обуза. Прежний дружеский тон в ежевечерних беседах с Гумовски теперь давался ему ценой невероятных усилий: приходилось как никогда держать себя в узде, чтобы не сорваться. И долго еще после ухода господина майора что-то в душе Юркина дрожало и вибрировало... Но Гумовски ничего не замечал: именно в этот последний месяц он почему-то привязался к Юркину.

Снова кашлянул Гумовски, и Юркин спросил:

– Господин майор, как вы считаете, нас встретят?

Гумовски ответил не сразу – видимо, полон был своими думами.

– Да, я передал в штаб 16-й армии требование на грузовик и взвод солдат.

Самолет шел над Рижским заливом, еще час полета, и – Курляндия, древняя Курземе, страна куров...

Многострадальная земля, которую псы-рыцари в XIII веке досыта напоили кровью местных жителей; обильная земля, которую пять веков поливали своим потом рабы остзейских баронов; злосчастная земля, которой доведется стать местом последнего сражения в пределах советских рубежей: здесь еще после капитуляции Берлина будут добывать остатки злобно огрызавшейся 16-й немецкой армии.

Но сейчас ни Гумовски, ни Юркин не знали, что Курляндский мешок будет держаться еще без малого год, и потому думали, что школу могут передислоцировать куда-нибудь в другое место – в Польшу или Германию.

Юркин же думал, что вот и вторая операция прошла успешно: принесенные им документы (штабные карты и пояснительные записки) изучал сам Гизевиус и остался весьма доволен. Юркин знал, что никаких дат на карте не было. Но в одном из принесенных им приказов было сказано: подготовку закончить к 1 сентября. И немцы сделали вывод, что это и есть дата русского наступления. Направление удара тоже было ясно: из района южнее Чудского озера на северо-запад, на Выру и Тарту. Оставалось лишь неизвестным, общее ли это наступление или частное. Во всяком случае, немецкое командование заторопилось: надо было до начала русского наступления принять хоть какие-то меры.

Немцы срочно сняли из-под Нарвы и направили в Южную Эстонию две свои дивизии – 122-ю и 221-ю. Но обе они даже не успели занять позиции: наши войска, взломав 10 августа немецкую оборону, стремительно двинулись на Выру. В этом и был весь секрет: немцев дезориентировали – наступление началось на целых двадцать дней раньше. Но и к Юркину нельзя было придраться, ведь ясно, что разгром штаба одного из своих батальонов русские не заметить не могли. (Кстати, разгром был самый натуральный: с пальбой, со взрывами; спектакль был дан силами комендантского взвода штаба дивизии и чекистов отдела подполковника Свиридова.) Юркин, запихав в ранец документы, один ушел через фронт: на этот раз появление с Самсоновым было бы слишком большим риском. Опять оба они возвращаются, живые и невредимые, а остальных нет... Ну, а после такого события, как разгром штаба, русские, понятно, должны были изменить дату своего наступления. С этим Гизевиус тоже считался. Только он не думал, что изменение во времени будет таким большим. Ведь полмесяца при подготовке крупной войсковой операции – огромный срок! В общем, Юркин остался вне подозрения и был причислен чуть ли не к героям – Гизевиус сказал, что если бы можно было награждать русских рыцарским крестом, то он ходатайствовал бы о представлении Юркина к такой награде.

Зато уж и радист – хоть ростом был невелик и телом тщедушен – оказался крепким орешком. Бились с ним двое суток, да так ничего и не добились. Даже не открылся, кто он, откуда. На допросе молчал, чуть прикрыв глаза толстыми веками с рыжими короткими ресницами... Так что Юркин по возвращении сказал немцам, что рацию перед операцией спрятал, и даже указал по карте, где именно, чтобы могли проверить, а радист-де погиб при нападении на штаб. И вместе с ним будто бы погибли еще двое – Губин и Шорохов. (Они действительно погибли, пытаясь оказать сопротивление, их трупы закопали неподалеку от землянок разгромленного штаба. На всякий случай – если немцам захочется проверить.)

И вроде бы все шло хорошо, удачно. И вроде бы не о чем тужить... А на душе у Юркина так уж скверно – хуже и быть не может.

Гумовски, как встретил его за линией фронта, сразу повез в Бюро Гизевиуса. Там пробыли безотлучно двое суток – пока Юркин писал

рапорт, пока фрегат-капитан изучал материалы. Потом их с Гумовски отпустили – и это было уже ночью. В школу приехали часа в два. Юркин, раздеваясь, думал: вот проснется, а утром придет Лайне – уборка начиналась в семь.

Проснулся он часов в пять. И все, больше глаз не сомкнул.

Услыхав за дверью грохот ведра, удивился: Лайне все делала тихо, неслышно. Постучали в дверь, и тут же в комнату бочком протиснулась незнакомая пожилая женщина, нерешительно спросила по-немецки, коверкая фразу:

– Я убирать можно?

Юркин ответил поспешно, стремясь скрыть растерянность:

– Да-да, пожалуйста...

На языке так и вертелся вопрос: где Лайне? Что случилось? Но он сдержался. Нет-нет, спрашивать ни о чем нельзя. Кто знает, чем вызвана эта замена? О его отношениях с Лайне никто в школе не подозревал, и исчезновение девушки не должно было его волновать. Лайне или вот эта эстонка – ему безразлично...

Но Юркина ожидал еще один удар.

Утром, до начала занятий, он подошел к Гумовски, спросил:

– Господин майор, как там наша радистка?

Гумовски, став сразу серьезным, отрезал:

– Господин Михайлов, о ней забудьте. И вообще – не рекомендую заводить... как это по-русски? – заводить шашни с сотрудницами. Фройляйн Валя передана в другую службу – там ей найдут хорошее применение.

– Но ее поселили в квартиру, как мы намечали?

– Да, я сам все устроил, я же обещал. Адреса ее я вам не дам, вы можете надеться на глупостей. И запомните золотое правило разведчика: никогда не надо интересоваться тем, что вас не касается.

Юркину оставалось одно – в знак покорности щелкнуть каблуками, и он щелкнул истово, как выучился у немцев, напружинивая ноги и потому чуть подпрыгнув на носках, и даже сказал по-немецки: «Яволь, герр майор!» На большее Юркина не хватило – ни на улыбку, ни на выражающий согласие взгляд. Наоборот, Юркин прикрыл глаза: боялся,

что Гумовски увидит в них то, что ему показывать было никак нельзя...

Через неделю Юркин попал в город: послал с поручением Гумовски. Когда ехал, был уверен: обязательно выкроит время, зайдет к школьной подруге Лайне. Узнает о ней. И когда подвернулась такая возможность – в Бюро Гизевиуса управился быстро, в запасе оставалось чуть больше часа – понял, что никуда не пойдет. Кто знает, с чем связано исчезновение Лайне? Что, если там засада? Рисковать собой он не имел права. Не своей жизнью, нет – он не имел права рисковать своим положением разведчика. Если он провалится, другого человека в эту школу наши еще не скоро забросят...

Для работников школы он оставался все таким же – спокойным, уравновешенным. Только ночью он становился самим собой – какими же тяжелыми были эти часы! Сообщение о Вале Энно, что ее перевели в другую службу, он в тайник положил. Но в какую именно, так и осталось невыясненным. Может, в отделение «Марине» – военно-морского флота, а может – «Люфт», авиационное. Но туда Юркин доступа не имел. И ведь ничего, ничего нельзя было поделать – как тогда, при расстреле Быкова! Нельзя было искать Энно, нельзя было искать Лайне... Последние две недели Юркин перестал ездить в город – боялся за себя. Боялся, что не выдержит и, махнув на все рукой, бросится разыскивать свою Лайне...

Весь август и начало сентября в Южной Эстонии шли тяжелые бои – немцы даже пытались контратаковать. Но вот 14 сентября всколыхнулся советский фронт в Латвии, а 17-го вздрогнула от могучих артиллерийских залпов вся линия немецкой обороны в Южной Эстонии, по берегу Суур-Эмайги: перешла в новое наступление ударная армия. В ее составе теперь действовал переброшенный сюда из-под Нарвы 8-й Эстонский корпус, и кто мог удерживать бойцов, которые шли освобождать родную, истерзанную, три года не виденную землю? В этот же день загрохотали пушки по-за Нарвой, понеслись со свистом реактивные снаряды: здесь тоже началось наше наступление. Восемнадцатого по всем дорогам Эстонии – с юга, с востока – хлынули колонны русских танков и мотопехоты. Организованное сопротивление немцев было сломлено, лишь кое-где они пытались удерживать пози-

ции группами в 50–100 человек, но после первых же ударов оставляли свои рубежи и катились дальше.

В этот день, восемнадцатого, школу залихорадило: поднялась суматоха, все носились из дома в дом и по этажам, готовя к отправке в Курляндию архивы и текущие документы. В этой сумятице Юркин легко мог скрыться, чтобы дождаться своих. Такой вариант у них с полковником Ляшенко тоже был предусмотрен. Но Юркин рассудил иначе: война еще не кончена, неизвестно, сколько она еще продлится, неизвестно, что станет со школой, возможно, что Курляндия лишь трамплин, что оттуда школу перебросят в Германию... Бросать работу на полпути было нельзя. И теперь Юркин неся рядом с майором Гумовски в темном самолете над гладью Рижского залива и с тоской думал, что жизнь с ним все же обошлась чудовищно несправедливо, что он вынужден бежать тайком со своей земли, словно он и впрямь предатель какой-то, что ему так и не удалось выяснить, куда делась Валя Энно и что с ней стало, что вместо того, чтобы разыскать Лайне, которой, быть может, сейчас больше всего нужна именно его помощь, он должен помогать фашистам в переброске архивов и сохранять эти архивы, причем сидящий рядом с ним немец уверен – совершенно уверен! – в полной преданности Юркина.

– ...Господин Михайлов! – окликнул Юркина Гумовски.

– Да, слушаю, – тут же отозвался Юркин.

– Я хотел спросить... Что вы сейчас думаете? Нет, что вы чувствуете? Ведь вы русский...

– Господин майор, назад пути мне нет. Меня повесят, как только установят мою личность. Даже следствие вести не станут. Мне не о чем думать!

– Господин Михайлов... Я не знаю, что нас ждет... И я должен сказать, что виноват перед вами...

Юркин понял, что у Гумовски наступил тот момент душевной размяченности, который может застигнуть каждого, – только вот время и место не очень подходящие... А впрочем, видимо, именно сейчас майора одолели мрачные предчувствия и он хочет – ему просто необходимо – излить душу. Словом, что ни делается – все к лучшему...

– Передо мной? Вы, господин майор?

– Да, да. Я ведь понял, что вы влюбились в ту радистку. Не отрицайте, не надо, теперь это все равно. Но вы же сильный человек, и вы должны все знать... Я решил это пресечь, для вас могли быть неприятности. И я передал радистку в отряд диверсантов... Их готовил реферат* «Марине». Месяц назад, во время очередных учений, трое диверсантов взбунтовались, захватили катер и ушли в море... На том катере была и фройляйн Валя...

Юркин, не смея поверить в такое чудо, возбужденно спросил:

– И они прорвались к русским?

Гумовски дружески положил ему руку на плечо:

– Нет, не прорвались. Их разбомбили в десяти милях восточнее Таллина. Как обошлись с Энно взбунтовавшиеся матросы, мы не знаем, но это уже всё позади: все они умерли. И ваша фройляйн Валя тоже...

Юркин мог плакать открыто: немец приписал бы его слезы любовным переживаниям и был бы доволен своей проницательностью. Но слез у Юркина не было. И задушить этого немца Юркин не мог, ведь пока шла война, он выполнял свое задание, а Гумовски был частью этого задания. Нет-нет, его надо было не душить, а охранять, изо всех сил охранять.

...Слева в окошках самолета посветлело: занимался новый день. Третий день русского наступления в Эстонии.

Теперь тяжелая машина шла над самой землей. Юркин почувствовал, как они скользнули на левое крыло: летчик закладывал вираж перед посадкой. Вот подпрыгнули на посадочной полосе, покатались. Что случилось потом, Юркин не понял: удар огромной силы бросил его вперед, притиснул правым боком к переборке. Он очнулся, когда в круглых иллюминаторах запыхало пламя вспыхнувших моторов. Машина лежала на брюхе, упершись в землю правым крылом.

Преодолевая боль в плече, Юркин открыл дверь в переборке, заглянул к летчикам – в фонаре было все искромсано, и из перекореженного, сплющенного железа торчала чья-то рука и запрокинутая голова, по мертвому лицу мелькали огненные блики. Юркин кинулся обратно,

* Отделение (нем.).

к бортовой двери, с трудом ее открыл – сразу стало светло. Оглянулся – на полу самолета лежал без сознания Гумовски. Юркин подсунул под него левую руку, подтянул к двери, высунулся – немцы толпились поодаль: к горевшей машине подойти никто, видимо, не решался.

Юркин крикнул:

– Сюда, помогите!

Двое двинулись, но очень медленно, и Юркин крикнул громче:

– Эй, кто из вас самый храбрый?

Те двое пошли скорее; Юркин перекинул им на руки Гумовски, нырнул в самолет и схватил первый попавшийся ящик – хорошо, что их так и делали, на одного человека. В секунду он выкинул ящик из машины, затем второй, третий – больше ему стараться не дали: те двое – они оказались потом солдатами из аэродромной команды – влезли в машину и выкинули его самого. Едва они отбежали метров десять, как рванули бензобаки. Юркин повалился на землю, запоздало закрывая голову левой рукой: правая не действовала, болела нестерпимо.

После второго взрыва он встал, вытащил парабеллум и заковылял к обоим пылающим самолетам, крича:

– Не приближаться! Где охрана? Не приближаться! Где охрана?

Наконец донесся рев сирены: шла машина с охраной. Принимать документы разведшколы. Те ящики, которые не сгорели.

II

Великая Отечественная война окончилась, как известно, 9 мая 1945 года. По крайней мере, любой школьник назовет вам именно этот день. Потому что в этот день капитулировала гитлеровская армия – на земле, в воздухе и на море. Акт капитуляции подписали в ночь с 8 на 9 мая представители всех трех родов войск – сухопутных, военно-морских и военно-воздушных.

Но была еще одна война – война разведок. А представитель РСХА – Главного управления имперской безопасности, куда входил абвер и гестапо, акт о капитуляции не подписывал. И войну эти службы продолжали.

По всей Прибалтике бродили в глухих болотистых лесах банды националистов – латышских айзсаргов, эстонских кайцелитов и бойцов омакайтсе. В годы войны вожди буржуазных националистов прочно связали себя с оккупантами, и немцы, отступая из Прибалтики, оставили в тылу советских войск огромные склады с оружием, руководителей и организаторов банд, инструкции и средства связи. Борьба с этими бандами была жестокой и длилась еще не один год после Победы. Летом 1945 года она только начиналась.

Были в то время у чекистов и другие задачи: надо было выявить среди многих тысяч военнопленных бывших работников немецкой разведки, карателей, изменников; расследовать немецкие злодеяния, найти виновных, предать их суду...

Нет, с Днем Победы боевая страда для чекистов не кончилась. Не кончилась она и для полковника Ляшенко.

В эти первые послевоенные месяцы полковник никаких изменений в нагрузке и не ощутил. Все так же носился он на своей машине и днем и ночью, не зная покоя сам и не давая дремать другим. И, бывая в лагерях немецких военнопленных, без устали разыскивал людей из Таллинской разведшколы. Дело в том, что после второй заброски Юркина в немецкий тыл следы его потерялись. Правда, полковнику удалось установить, что Юркин и Гумовски за два-три дня до освобождения Таллина улетели на самолете в Курляндию, увезли документы школы. За ними следом ушел второй самолет – там будто бы были майор Зольдер и еще кто-то из преподавателей. Но куда исчез Юркин после этого, осталось неизвестным. Ляшенко через наше командование выяснил, что в те дни над Рижским заливом было сбито несколько немецких транспортных самолетов, люди погибли. Но был ли среди этих погибших Юркин – этого полковник Ляшенко не знал.

Пока держался Курляндский мешок, Ляшенко в глубине души надеялся, что Юркин там, в немецком тылу. Но вот бои кончились, немцы капитулировали и здесь, в Курляндии.

Юркин не объявлялся.

И тогда полковник Ляшенко, переждав для верности еще месяц, решил подготовить письмо родителям Юркина – горькие строки, каких немало получали люди в те годы...

С черновиком письма в папке он и выехал в тот день в один из лагерей военнопленных. Лагерь был транзитный, через него просеивали немецких офицеров, отбирая из общей массы бывших гестаповцев, эсэсовцев и работников абвера. Ляшенко знал из показаний уже выявленных гестаповцев, что в этом лагере должен скрываться Николай Кукс – бывший начальник политической полиции, входившей в состав таллинской зондеркоманды – той самой карательной команды, которая вела борьбу против советских партизан и подпольщиков. Но дело в том, что Кукс предусмотрительно запасася документами на имя какого-то армейского офицера, так что найти его в массе военнопленных было совсем не просто.

Просматривая в штабе лагеря списки военнопленных, полковник Ляшенко наткнулся на знакомую фамилию – Петер Иордан. Обер-лейтенант. Служба обеспечения тыла. Но ведь такой псевдоним был и у Юркина! Неужели это он? Да, но последних немцев брали в плен два месяца назад. И этот Иордан, выходит, уже два месяца в лагере. Почему же Юркин, если это он, не дал о себе знать?

Ляшенко, на что уж был выдержанным человеком, разволновался: снял пенсне, достал из кармана носовой платок, машинально протирая стекла, спросил работника фильтрационного отдела:

– Это что за человек? Да вот этот, Иордан? Вы с ним беседовали?

Подполковник пересмотрел дважды записи, потом покачал головой:

– Никак нет, товарищ полковник, еще не успел. Их ведь здесь сколько тысяч – где же мне управиться сразу со всеми?

– А он сам к вам не просился?

– Никак нет, товарищ полковник.

– Да, интересно... Неужели это он? Словом, надо сделать вот что: пусть построят весь барак, в котором он живет. Если это тот, о ком я думаю, то у него, видимо, веские основания вести себя таким образом. Давайте, стройте барак – на аппельплац* выводить не надо, стройте прямо у барака. А я к ним выйду с вашим переводчиком.

* Так в немецких лагерях называлась площадка для проверок и построений. В нашем плену немцы-военнопленные также пользовались этим словом. От них его восприняли наши работники.

Еще через полчаса обитатели барака были выстроены. Подходя к шеренге, полковник Ляшенко еще издали увидел знакомую фигуру Юркина в заношенном немецком мундире – это был он, как говорится, собственной персоной. Только сильно исхудавший.

Подойдя вплотную к строю, Ляшенко увидел, как побелело лицо Юркина, как заходили желваки на скулах.

Ляшенко прошелся перед строем взад-вперед, задал через переводчика несколько общих вопросов, потом спросил: у кого какие претензии? Откликнулось несколько человек, и полковник сказал, что те, у кого есть претензии, могут побеседовать с ним один на один в порядке очереди.

Еще через час очередь дошла и до обер-лейтенанта Петера Иордана.

Когда он вошел, в комнате были полковник Ляшенко, переводчик и офицер из фильтрационного отдела.

Переводчик велел Иордану садиться, подполковник из фильтрационного отдела приготовился записывать претензии, а Ляшенко вышел из-за стола, подошел к поднявшемуся ему навстречу немцу, обнял его и на глазах у ошеломленных офицеров поцеловал – крепко, в самые губы. Потом, не выпуская «немца» из объятий, оглянулся:

– Что смотрите? Думаете, рехнулся полковник? Да я же его год как похоронил! – Снова обернулся к «немцу»: – А ты живой! Петр Михайлович, ведь живой, а? Ай, молодец! – Он наконец выпустил Юркина из объятий. – Садись, садись! Когда ты сюда попал?

Юркин, блестя влажными глазами, немного помолчал, потом усмехнулся:

– Да как Курляндский мешок разгрохали. Я с последними сдался.

– А раньше не мог выйти?

– Никак не мог, Степан Савельевич.

– Что это у тебя с рукой? Горел, что ли?

– Было дело: самолет при посадке врезался.

– Это когда вы из Таллина с Гумовски летели?

– Да, тогда.

– Ну и где они все – Гумовски, Зольдер, Доктор?

– Гумовски в Германию успели отправить, он раненый был, я его из самолета вытащил. Только вот не знаю, прорвался ли их транспорт

через море. Зольдер в последний момент перед вылетом из Таллина из самолета вылез, его Гизевиус с собой забрал, это я от Гумовски узнал. Они, минуя Курляндию, сразу ушли морем в Германию. Доктор и другие преподаватели прилетели вслед за нами. Перед капитуляцией Доктор застрелился, остальные рассеялись кто куда. А Валя Энно погибла...

– Как это случилось? Откуда знаешь?

– Гумовски в самолете сказал... Я после рапорт напишу – там вообще разобраться надо, у немцев вроде наши моряки восстали, из них немцы диверсантов готовили, а они восстали. И Валентина с ними...

– Ладно, пиши, проверять будем. А девушку-то жалко... Да, ты еще не знаешь, ведь майор Алгазин тоже погиб, еще весной: ехал на машине и на банду напоролся... Да, брат, всех жалко – столько хороших людей эта война взяла... Ну, ладно. И почему ты, Петр Михайлович, ему вот не открылся? – Полковник кивнул на офицера фильтрационного отдела.

– Обстановка не позволяла. Тут, в лагере, есть кое-какая сволота с липой. Если б я открылся, как бы я их выявил? Здесь, Степан Савельевич, даже сидит бывший начальник политической полиции таллинской зондеркоманды Николай Кукс!

– Это я, брат, и сам знаю. А вот под каким именем он скрывается, тебе известно?

– Конечно, не зря же я два месяца немцем был!

– Все тогда – кончай маскарад! Больше ты к фрицам не вернешься. Достаточно ты перенес – есть для тебя и другая работа: поставлю на фильтрацию. – И офицеру, не сводившему глаз с Юркина: – А вам бы уж хватит удивляться! Скажите спасибо вот капитану, что он вам матерого душегуба нашел, да бегите скорее за людьми – Кукса немедленно изолировать и завтра же отправить конвоем в Таллин! Будем фашиста судить! А ты, Петр Михайлович, сбрасывай с себя это рванье – я сейчас прикажу тебя побанить, да свою форму выдадим – хватит в чужих погонах ходить! Свои надевай.

Глава двенадцатая

I

Ясным июньским утром 1946 года Юркин вышел из только что прибывшего поезда на таллинский перрон, сияя новенькими золотыми майорскими погонами: перед самым отпуском пришел приказ о присвоении. Да и отпуск-то свалился как снег на голову: то спорил, доказывал, выпрашивал, а то нá тебе, вызвал генерал Ляшенко, сказал, что поступило разрешение предоставлять отпуска, тут же документы в руки – на, езжай на целый месяц, гуляй не хочу!

И вот он – Таллин!

От одной мысли, что ему, быть может, посчастливится найти Лайне, у Юркина перехватило дыхание.

Через час он разыскал адресное бюро, и пожилая нервная женщина через крохотное оконце в толстенной стене выдала ему листок, на котором по-эстонски был написан адрес Лайне Вильбастэ. Что же, эту улицу в районе порта Юркин знал. И он пошел через город пешком.

Все в центре было ему знакомо, все осталось таким же, каким было два-три года назад. После разрушенных немецких и польских городов это казалось чудом. Впрочем, чуда здесь не было: в сорок первом наши вели бои с немцами лишь по внешнему обводу города, оборону держали без малого месяц, а потом морем ушли в Ленинград. Наше же наступление было столь стремительным, что немцы не успели дать бой в городе и поспешно бежали.

...Домик, где жила Лайне, Юркин нашел довольно быстро – маленькое серое двухэтажное здание с деревянной лестницей в темном портале. Юркин поставил на землю чемоданчик, сел на него, закурил... А может, не стоит подыматься вверх? Что же с того, что он приехал? Лайне не обязана его ждать. Даже наверняка не стала ждать... Что за глупость он ей тогда спорол, у парапета Вышгорода! Ну как это – жди немца! После Победы... Конечно, надо было ей открыться... Доложить Ляшенко и открыться. Она бы... Но зайти все-таки надо. Чтобы все стало на свои места. Чтобы потом не казнить всю жизнь.

Он решительно поднялся, подхватил чемоданчик и зашагал вверх по скрипучей лестнице.

В комнате, куда он вошел, никого не было. Потом из другой двери выглянула седая старушка и что-то сказала по-эстонски.

Юркин поставил чемоданчик на пол, снял фуражку, чуть поклонился:

– Здравствуйте! Где Лайне?

Старушка, с удивлением глядя на него, что-то переспросила, но он уловил имя Лайне и радостно закивал, заулыбался:

– Да, да, Лайне, Лайне!

Старушка опять что-то сказала и придвинула стул.

Юркин сел – видимо, надо было ждать.

Старушка села за стол напротив и стала его разглядывать – в глазах так и сквозило то любопытство, то недоумение. Она еще раз попыталась заговорить, но Юркин по-эстонски не понимал.

Наконец на лестнице послышались чьи-то шаги, дверь распахнулась, и на пороге появилась Лайне – ничуть не изменившаяся. Юркин встал ей навстречу – кровь отхлынула от щек девушки, глаза наполнились ужасом. Ведь для нее Юркин продолжал оставаться немцем. И она давно смирилась с мыслью, что никогда больше не увидит Пеэтера. Он умер – по крайней мере, для нее.

Лайне прижалась к стене, шепча:

– Ты? Ты?

Юркин, ничего не понимая, спросил по-немецки:

– Что с тобой? Чего ты испугалась?

– Но ведь кругом русские! Тебя схватят! Где ты достал эту форму? – Она провела пальцем по портупее.

– Это моя форма.

– О, моя бедная голова! Она ничего не понимает...

Что-то сказала старушка. Лайне ей резко ответила, потом подвела Юркина к дивану, села рядом.

– О Пеэтер, это верно твоя форма?

– Ну, конечно, моя.

– А ты не скрываешься?

– Нет, не скрываюсь.

- Но ты же саксланэ?
- Нет.
- Ты русский?
- Да.
- А что ты делал у фашистов?

Глядя в бесконечно дорогое лицо, в полные слез глаза, Юркин вспомнил ее слова, сказанные тогда, в Вышгороде.

- Подумай!
 - О Пеэтер! Я сейчас не могу думать! Я ничего не понимаю!
- Опять заговорила старушка, и Юркин не выдержал:

- Лайне, что она говорит?
- Она хочет знать, кто ты. А я ей сказала, что ты и есть мой муж, что я считала тебя убитым, а ты вернулся, а она не верит...
- Да откуда она знает про мужа?
- О иссанд юмаль!* Ты же еще ничего не знаешь!

Лайне стремительно вскочила, выбежала на лестницу и тут же вернулась, неся на руках светловолосую девочку.

- Вот, Пеэтер, это наша Марет. Ей уже год и два месяца.

Чувствуя, что его захлестывает волна нестерпимого счастья, Юркин осторожно взял девочку, поцеловал в лобик под синим бантом – девочка что-то залепетала, со смехом потянулась к блестящим золотым погонам.

- Вот беда, Лайне, как же я буду говорить со своей дочкой? Я по-эстонски ни слова, вы с ней русского не знаете.

Старушка подошла к ошалевшему от счастья Юркину, потянула за рукав и что-то сказала – зло и решительно.

Лайне перевела:

- Она спрашивает, твоя ли это дочь?
- Ну, конечно, моя.

– погоди, Пеэтер. Она говорит: позапрошлый год здесь не было русских и ты не можешь быть отцом девочки. Ты чужой, говорит мать, а эта девочка от саксланэ. Она говорит, чтобы ты отпустил ребенка, сел вон туда и ждал отца. Сейчас придет мой отец, пусть он решает...

* Боже мой! (эст.)

Старик пришел через час – суровый, чуть медлительный рабочий порта. Не обращая внимания на Юркина, ушел в кухню и там долго плескался. Потом вошел в комнату уже переодетым, подсел к столу, положив на белую, аккуратно подштопанную скатерть тонкие, но крепкие руки. Посмотрел на жену, на Лайне: ее так и тянуло к Юркину, но она все-таки умела держать себя в руках!

Наконец старик спросил по-русски:

– Кто вы, как вас зовут?

Юркин улыбнулся:

– Я русский офицер, зовут Юркин Петр Михайлович. Служу в Советской армии, имею звание майора. Может, показать документы?

– Не надо. Мы сейчас пойдем в комендатуру. Если ты отец Марет, значит, ты и есть тот саксланэ, с которым путалась...

Этого Юркин не мог вынести!

– Да, я тот самый! Но я русский! Я выполнял секретное задание, понимаете? Меня послали к немцам, понимаете? Специально послали!

– Не кричи, майор.

– Не могу не кричать! Всю войну я держал сердце в кулаке – больше не хочу. Лайне – моя жена, Марет – моя дочь и хватит с меня допросов! Там, в чемоданчике, лежат две бутылки – давайте лучше выпьем за всех нас, за мою семью! А вы, отец, вы же говорите по-русски. Почему же вы Лайне не выучили?

– Я думал, она со своим немцем убежит, а немецкий она знает лучше меня.

– Ну, кончим, отец. Научимся: я – эстонскому, они – русскому. Лайне, дай, пожалуйста, чемоданчик! – И, ставя на стол две светлые бутылки, вдруг спросил: – А может, все же сходим в комендатуру? Для верности?

Старик усмехнулся:

– Сегодня не надо.

*Новокузнецк – Таллин
1965–1968*

ШУТНИК

Рассказ

Сиверцев молчит.

Он молчит уже целый час – с момента, как его привели ко мне на допрос. И, честно говоря, я не могу понять, что творится в его душе, что прячется за этими неправдоподобно, совсем по-детски синими глазами.

У Сиверцева огромная кудлатая голова и широченные плечи. Я тоже не маленький, но встретиться с ним один на один в темном переулке не хотел бы... Брови Сиверцева иногда сходятся к переносью, потом нервно взлетают вверх, и снова на лице равнодушие. Почему он избрал такую тактику? Нет, не понимаю.

Дело же для меня совершенно ясное: был пьян и вчера на глазах у всей Чувашки перевернул на Мрассу лодку с людьми. Запираться нет никакого смысла: слишком много очевидцев. Этого он не может не понимать. Я листаю их показания – вот они, на столе. Целая кипа. Так что деваться Сиверцеву некуда. И весь мой разговор с ним – нудная, пустая формальность. Надо уточнить детали. Как будто они воскресят погибших. Сиверцев был пьян – не протрезвел, даже когда его самого выудили из воды. Так вот, надо выяснить, где он напился и когда – до того, как брал пассажиров, или после? Видите ли, это нужно для суда.

Вздыхаю и снова принимаюсь за опостылевший допрос:

– Послушайте, Сиверцев!

Он переводит на меня глаза и молча ждет.

– Где вы взяли пассажиров? В Мысках?

Молчание.

– Вы меня слышите?

Молчание.

...Все, кому надо вверх по Мрассу, собираются в Мысках у моста. Так уж издавна повелось. Мост построили в пятьдесят четвертом, когда на восток вели автодорогу. А раньше здесь был паром. Так оно и осталось: хочешь плыть в Тоз, или Мзасс, или в Камешок – иди к мосту. Там к отлогому галечному берегу подлетают лихачи-шорцы на своих

длинных узких лодках, на каких их предки промышляли рыбу и сто, и двести лет назад. Только теперь на корме лодок бензиновый мотор. Бывает, что и леспромхозовские катера людей берут. Да и лесорубы моторами обзавелись: река-то – единственный путь. Все тут гоняют, а лишний рубль почему бы не перехватить?

Ожидающих было трое. Технорук Тозинского участка Базылев – высокий, худой, левая рука на перевязи. Ехал он из больницы и все переживал, что до дому засветло не доберется.

Тут же на двух узлах сидела молодая женщина с пятилетней девочкой на руках, видно, приезжая: и горы вокруг, и зеленая вода с плывущими по ней бревнами были ей в диковинку.

Поодаль, у валуна, курил бухгалтер с Камешковского участка Сатушев, шорец лет сорока. Он был спокоен, потому что Камешок – это на полпути до Тоза, и плыть ему всего-то два часа, и уж кто-кто, а он дома будет...

Снизу, от лесобиржи, подошла леспромхозовская лодка и острым длинным носом уперлась в гальку берега.

Базылев поднялся и обратился к женщине:

– Садите ребенка. Я хоть и однорукий, но с вашим багажом управляюсь.

– Вот спасибо-то!

Базылев не ожидал, что ее тюк окажется столь тяжелым, – повернул к женщине покрасневшее от натуги лицо:

– Ишь, спасибо! Этим не отделаешься! – Бросив тюк в нос лодки, метнулся за вторым, а уложив его, скомандовал: – Давай, Сатушев, пересаживайся к корме! И вы туда же, а я лодку столкну.

Но как ни упирался Базылев, лодка крепко сидела в гальках.

Базылев с досадой спросил моториста, огромного парня с кудлатой головой:

– Багор-то у тебя есть?

– Ну, есть, а что?

– Так помоги, что ли? Видишь, мне не под силу.

– Эх ты, длинный – что с тебя проку? Садись, я сам!

Но тут с моста по откосу сбежал парень в солдатской выгоревшей гимнастерке без погон:

– Эй вы, солдата прихватите!

Базылев и солдат навалились, и лодка, поскрежежевывая днищем по галькам, пошла. Шагая в лодку, солдат чуть замешкался, зачерпнул воду за голенища сапог.

Моторист дернул шнур раз, другой, третий – лодку медленно сносило к лесобирже, а мотор все молчал. Но вот он судорожно чихнул, окутался сизым дымком и затарахтел...

Вода стремительно несется под вздернутый нос лодки и белой всклокоченной пеной отлетает от кормы к медленно уплывающим берегам. На реке всегда так: если смотреть на воду, так лодка – летит, прямо как самолет. А посмотришь на берега – она вроде и на месте.

Солдат откинулся на тюк, прищурившись, смотрит в небо: там ястреб. Вдруг он резко бросается в пике, и тут же с реки с гомоном и плеском срывается утиная стая. Ястреб взмывает вверх и снова начинает делать круг за кругом.

– Странное все же название у вашего города – Мыски...

Женщина, прижав к груди осоловевшую от жары девочку, осторожно вытягивает занемевшие ноги.

– Отчего так называли?

Базылев – он сидит спиной по ходу, лицом к женщине – откликается:

– Мыски – холмы, значит. Тут в округе места ровного не сыщешь. Здесь прежде шорский улус стоял, Тетенза, а рядом деревушка русская Бородино. Теперь местные остряки шутят: у нас, мол, Мыски как Москва, только горы наши повыше да Бородино поближе.

Женщина чуть слышно смеется.

– А вы, видать, нездешние? – поворачивается к женщине солдат.

– Нет, из Костромы. Фельдшер я, вот в Тоз с дочкой едем.

– А в тюках-то что? – Базылев машет здоровой рукой за спину.

– Да книги – их только и взяла, остальным, думаю, там обзаведусь.

– Обзаведетесь, конечно, – соглашается Базылев.

Солдат смотрит на славное лицо с чуть курносом носом и как-то чересчур уж безразлично осведомляется:

– Что же одна в такой путь подалась?

Женщина вздыхает:

– Так уж получилось...

– Без мужа, значит? – уточняет солдат.

– Значит, без мужа...

И тут что-то резко бьет лодку по днищу. Накренившись, она черпает воду бортом и тут же выравнивается.

Базылев, инстинктивно вцепившийся здоровой рукой в борт, обрушивается на моториста:

– Ты что, дубина гороховая, не видишь, куда лодку ведешь? Утопить нас хочешь, что ли?

Моторист лениво огрызается:

– Да не бухти ты! Подумаешь, бревно примяли, лодка новенькая, ей эти бревна что семечки.

– А ну, дыхни! Да ты никак пьян?

– Ну, чего там – пьян! По жидкому плыть да жидкого внутрь не принять – такого закона нет.

– Вот паршивец! Все-таки я тебе завтра дам закон!

– Ты?

– Я!

Молчавший всю дорогу Сатушев неприязненно замечает:

– Ты, Сиверцев, не шибко задирайся, а то и вправду в приказ попадешь.

– Да плевал я на ваши бумажные приказы, понял?!

– Пьешь ты шибко, чужих девок больно любишь, силы у тебя много, а голова пустая. Зачем такой зряшный человек живет?

– Ну, это тебя не касается. Твою бабу же я вроде еще не любил.

Шорец с презрением сплюнул за борт:

– Совсем пустой человек. Ты лучше кончай болтать, чаль лодку к берегу, вон в Камешке мой дом виднеется.

...Взяв с Сатушева рубль, моторист минуту-другую молча смотрел, как шорец по мелкой воде бредет к берегу. Потом повернулся к Базылеву:

– Ну что, сойдете, что ли? А то ведь я пьяный, утоплю ненароком.

Базылев молчал. Солдат и женщина ожидающе смотрели на него. До Тоза еще километров пятнадцать. Можно, конечно, и пешком, по берегу. Ну да зачем маяться да и девчущку мучить? Обойдется, поди.

Базылев решился:

– Ладно, заводи мотор, поплыли. Только поосторожней смотри!

Моторист снова закуражился:

– Нет уж, постой. Ты вот законом грозился. А мне сто грамм хлопнуть что кобелю муху схарчить.

Он рванул из кармана куртки бутылку, зубами выдернул пробку и плеснул в рот мутноватую жидкость.

Базылева взорвало от такой великой наглости, он вскочил и здоровой рукой вышиб бутылку. Кудлатый моторист было оторопел, потом мотнул головой, медленно поднялся, исподлобья глядя на Базылева. Солдат понял, что дело может кончиться плохо.

Он выскочил из лодки и, разбрызгивая воду, бросился к мотористу:

– Ну чего ты завелся? Человек тебе дело говорит, а ты в бутылку!

Кудлатый осоловело осел на корме и, глядя на солдата снизу вверх голубыми глазами, опять забубнил:

– А какое он имеет право? Подумаешь, шишка на ровном месте! Да я ему...

Солдат положил на плечи кудлатого тяжелые руки и сказал вполголоса:

– Не лезь, набыю при женщине морду, я самбист, понимаешь? Потом каяться будешь.

Ничего этого я пока не знаю. Это станет известно потом, в конце допроса. А сейчас Сиверцев все еще молчит. И лицо у него по-прежнему совершенно безразличное. И вдруг меня осеняет: не хочет ли он прикинуться таким дурачком? Как же я сразу не догадался? Конечно, симулирует психическое расстройство. В жизни это иногда бывает: человек от нервного потрясения лишается рассудка. Я смотрю на могучие плечи Сиверцева, на белые пряди, нависшие над бронзовым лбом: то ли прошлогодний загар не сошел, то ли уже новый пристал? А может, это и не загар, а просто кожа такая смуглая, оттого что вечно на воде да на воздухе. Мысли же бегут дальше: если психическое расстройство, направляю его на экспертизу, а если он и вправду болен – дело прекращать и в суд, и по суду – на принудительное лечение... А

что ему лечение? Разве это наказание?.. Я снова и снова всматриваюсь в безразличное лицо Сиверцева. Взгляд его устремлен куда-то мимо меня. Да нет, не похож он на больного. И молчит зря. Впрочем, теперь я тоже молчу. Мне давно надоела эта бессмысленная карусель: я понимаю, что сегодня от Сиверцева ничего не добьюсь. Так тоже случается: то ли из-за неумения следователя, то ли из-за упрямства допрашиваемого, но бывает...

Ну ладно, сделаем паузу. Напишем-ка пока письмо матери солдата: надо сообщить ей о трагедии. Эта тяжелая обязанность тоже на мне, а Сиверцев пусть пока посидит, подумает.

Я достал из ящика стола документы погибших, разложил на столе. Все отсырело, кроме анодированного портсигара да паспорта женщины: он был завернут в целлофан и перетянут ниткой. Достал часы на сыром ремешке, приложил к уху и услышал мелодичное постукивание. Живет железка, а человека нет... И вспомнилась мне Германия и ясный июньский день сорок пятого года, услышал стук лопат: под Берлином выкапывали тогда из могилы у немецкой деревушки Дебеиц трупы четырех наших танкистов, чтобы перезахоронить их на общее кладбище в Панкове. Танкисты эти нарвались на засаду фаустпатронщиков в один из последних дней войны, второго мая. И когда переносили очередной жиденький дощатый гроб, когда ставили его в грузовик, из щели гроба вдруг посыпались чистенькие, красные тридцатирублевки: танкистам перед Первым мая давали зарплату. И так меня это тогда поразило: пролежали бумажки полтора месяца в земле, а все как новенькие. Старшина неторопливо подобрал их и пачечкой сунул обратно в гроб...

Так ведь то была война!

А здесь? Здесь за что люди погибли?

Негодяй он, этот кудлатый, сволочь и негодяй! И хватит с ним возиться – пора кончать допрос! Я поднял глаза на Сиверцева: он подался вперед и в упор смотрел на стол – на часы, на портсигар...

Лодка, высоко задрав нос с большими буквами «ЛПХ» и цифрой «17», мчалась вверх по реке, к Тозу.

Пассажиры молчали: какие уж тут разговоры, коли на моторе пьяный! Держался, правда, моторист как ни в чем не бывало, и глаза смотрели обычно, и лицо покраснело в меру. Но солдат остался рядом с кудлатым. Известно же: пьяному море по колено, а лужа по уши! Кто знает, что ему в голову взбредет? Так хоть чтобы рядом с ним быть – может, мотор перехватить, если что...

Девочка уже выспалась и теперь, сидя подле матери, то и дело опускала ручки в воду и звонко смеялась, когда радужные струйки окатывали ей локоть, а то и плечо.

Солнце ушло вправо, к западу, и только изредка било длинными косыми лучами сквозь мохнатые пихты на верхушках отступивших от реки гор. Весь правый берег за Мзасской скалой был огромной, местами заболоченной поймой. Скалы теперь перешагнули через реку и громоздились слева – здесь было глубоко даже летом, когда полая вода уходит и когда Мрассу в иных местах переходят вброд. Скалы здесь отвесно уходили под воду метров на двадцать.

Женщина, запрокинув голову, заворуженно смотрела вверх, на сосны, неизвестно как взобравшиеся на уступы скал, на серевший в раселинах снег. Вот уж такого она не видела: в мае – и снег!..

Скалы разом оборвались, отступили от реки, ушли влево; Мрассу разлилась в этом месте широченным полукилометровым плесом, затопила курьи и курьюшки. Базылев – он полулежал на носу, хоть и не смотрел вперед – вдруг весь напрягся: отражатели! Чтобы лес при сплаве не оседал в курьях, слева и справа от берегов наискосок, к середине реки, здесь ставили отражатели, а по-местному – плашкотники: длинные, метров на двести – триста каждая, бревенчатые плети. И если этот пьяный на моторе... Базылев тут же отогнал эту мысль, настолько она была несурзадной.

Вот и первый отражатель – лодка прошла метрах в тридцати от конца. Вдоль него бежали веселой гурьбой бревна. Отражатель поднимается над водой сантиметров на десять, но под водой – Базылев это знал – уходит на толщину двух бревен, и если лодка ненароком налетит...

– Так что вы хотите сказать, Сиверцев?

И тут он, оторвав взгляд от моего стола, откликнулся:

– Эх, да разве ж вы поверите? Я ведь не этого хотел, не этого! Если бы я знал! – И он безнадежно махнул лапищей.

– Так чего вы хотели?

Сиверцев, видимо, проглотил застрявший в горле комок – кадык у него дрогнул – и заговорил торопливо, помогая себе руками, словно боялся, что не успеет договорить:

– Попугать я хотел – того, однорукого! Чтобы не задирался! Думал, трякну лодку, он с лица побелеет, а я засмеюсь и потом, мол, донимать стану. Где встречу, так и попомню, как он от толчка с лица сменился, а еще меня, мол, взгреть собирался!

Я даже растерялся – настолько это дико звучало.

– И ради этого – все?

– А что? Зачем же он меня при бабе позорил?

– Послушайте, Сиверцев, ведь вы женаты?

– Женат. И дочка тоже есть.

– Вот-вот. А была бы в лодке ваша дочка – тоже бы так пошутили?

Оглянувшись, Базылев увидел набежавшие на косогор дома деревушки Чувашки, до Тоза оставалось совсем немного. Моторист все так же молча заложил вираж: берега стали описывать круг. И вдруг удар, треск, чей-то вскрик – и все оказались в воде. Просто сидели на скамейках, под ногами было дно лодки, и вдруг его не стало.

Солдат вынырнул сразу, оглянувшись – его уже отнесло от отражателя, на который налетела лодка. Рядом плыла белая панамка девочки, и он нырнул туда под панамку, где в зеленоватой мути белело платице. Рывок, еще рывок, подхватил ребенка и вынырнул – отражатель был теперь уже метрах в ста.

С берега наперерез ему шла лодка, на носу которой стоял с шестом шорец.

– Эй, эй, давай сюда-а! – летело над головой солдата.

Чувствуя, что ноги сводит судорогой – майская вода была нетерпимо ледяной, – солдат с девочкой начал грести в сторону лодки. Метрах

в тридцати впереди размашистыми саженками плыл кудлатый моторист. Лодка шла к нему, и лишь когда моторист влез в нее, повернула к полузахлебывающемуся солдату: он держался из последних сил.

– Да ты, парень, с ребенком? – удивился шорец. – Чего молчал?

Девочку подхватили, и тут острая боль пронзила поясницу солдата. Он погрузился в воду, прошел под другим отражателем, вынырнул еще раз, опять ушел под воду и поплыл, широко раскинув руки и уже не видя, что немного в стороне несет захлебывающегося Базылева и вцепившуюся мертвой хваткой в его шею женщину...

Я дописал протокол, но Сиверцев его читать не стал:

– Не могу – верите? – не могу. Как девчонку-то откачали, она как закричит: «Мамынька! Мамынька!» До сих пор этот крик слышу.

Я пододвинул к нему протокол:

– Подписывать-то надо, Сиверцев!

– Да я вам что хотите подпишу, только бы крика этого не слышать.

– Эх, сказал бы я вам, Сиверцев, кто вы есть, да жаль, должность не позволяет!

Он криво усмехнулся:

– То ли я сам не знаю? Давайте, где подписывать?

1968

Вадим Рудин, Екатерина Тюшина

СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ ВИЛЬ РУДИН

Вилю Григорьевичу Рудину не пришлось воевать на фронтах Великой Отечественной войны. И тем не менее его относят к писателям-фронтовикам. Сын кадрового офицера, погибшего в марте 1942 года на Калининском фронте, хорошо говорил по-немецки и в 1944 году был направлен в Московскую спецшколу. Непосредственно с войной ему довелось соприкоснуться в июне 1945 года, когда по окончании спецшколы он прибыл в Берлин и был включен в состав оперативной